

4

К 6536

и 591

КРАСНОЕ

СЛОВО

Г

И

У

1933/39
28439

882

ОТ СЕКРЕТАРИАТА ВСЕУКРАИНСКОГО СОЮЗА ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ СОЮЗА

Дорогие Товарищи!

Прошло более двух лет со дня основания нашего Союза. Секретариат начал подготовительную работу ко 2-му нашему съезду, который, согласно постановления Секретариата, откроется 26 мая 1929 года. Мы прошли большой творческий этап, выдержали за это время не одно наступление литературных противников на наши идеологические и художественные принципы, боролись не только за свою платформу — платформу пролетарской организации, но и за свое художественное самоопределение; мы имеем в этом направлении безусловные достижения, но вместе с тем были в работе членов ВУСПП'а и ошибки, иногда даже принципиальные. Поэтому наш съезд должен пройти под знаком глубочайшей самокритики и внимательнейшего анализа современной литературной ситуации на Украине. Мы обязаны серьезнейшим образом изучить и оценить наши достижения и недочеты; обязаны учесть все выдающиеся события и явления в нашей литературной жизни за последнее время: создание Всесоюзного Об'единения, организацию у нас еврейской секции ВУСПП'а, самоликвидацию ВАПЛИТЕ, литературный диспут, художественную систему „Литературного Ярмарка“, пути „Новой Генерации“ и т. д.; обязаны серьезнейшим образом проанализировать продукцию членов нашей организации и продукцию других писателей. Только на основе такой большой работы, которую должен проделать наш съезд, мы сможем правильно наметить дальнейшие перспективы нашего Пролетарского Союза.

Поэтому Секретариат призывает всех членов ВУСПП'а немедленно приступить к внимательной проработке всех вопросов, стоящих на повестке дня нашего съезда:

1. Отчет Секретариата. Итоги двухлетней деятельности Союза и дальнейшие перспективы.
2. Украинская пролетарская и советская революционная литература за последние годы.
3. Положение современной марксистской критики на Украине.
4. Русская пролетарская литература (доклад РАПП).
5. Белорусская пролетарская литература (доклад Белорусской Ассоциации).
6. Закавказская пролетарская литература (доклад т. Буачидзе от ЗАПП).
7. Украинский театр.
8. Украинское кино.
9. Организационные вопросы.

По всем вопросам, могущим возникнуть еще до съезда, Секретариат просит товарищей, работающих на периферии, немедленно обращаться к Секретариату по почте.

ИМ. СЕКРЕТАРИАТ

Харьков, 1929 г.
3 апреля.

6536

104

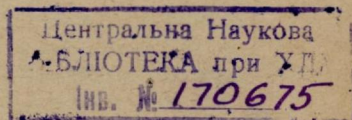
КРАСНОЕ СЛОВО

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ ВСЕУКРАИНСКОГО СОЮЗА
ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ВУСПП)

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

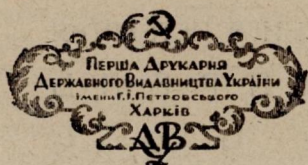
А П Р Е Л Ь

1 9 2 9



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

Библиографическое описание этого издания помещено в „Літописі Українського Друку“, „Картонном репертуаре“ и др. указателях Украинской Книжной Палаты



Типография Госиздата Украины им.
Г. И. Петровского, Харьков. Укрголов-
лит № 1611. 19/IV 1929. Заказ № 1006.
Тираж 1400.

И. МИКИТЕНКО

ГОЛУБИ МИРА

(Продолжение)

„Академики“ двинулись в поход на рынок, при чем было их четыре тысячи — по одним сведениям, три тысячи — по другим и полторы тысячи — по третьим, о чем мы, сохраняя все время абсолютную беспристрастность, и напоминаем. Как бы то ни было, но национальная честь была спасена демонстрацией у „Діла“ и в „Ділі“, откуда поход продолжался в направлении улицы Мохнацкого, в конце которой, на улице Супинского, находится Украинский Академический Дом, „этот известный очаг махинаций иностранных агентур и антиправительственных махинаций“. Навстречу молодежи, той же молодежи, исполненной благородных порывов (а не фашистских, как намекают некоторые антиправительственные элементы), так вот навстречу этой исполненной благородных порывов молодежи затрещали вновь револьверные и ружейные выстрелы.

Откуда они затрещали, встает перед нами проклятый вопрос... И встает он именно потому, что мы боимся, как бы наш уважаемый читатель не сделал вывода о том, будто во Львове, столице Западной Украины, есть украинцы - пролетарии, и не только есть, но это они и придумали проливать польскую академическую кровь. Сохрани вас бог от такой политики, как хранит он до сих пор меня и, надеюсь, будет хранить до конца путешествия. Как можно дальше от политики — вот девиз, который должен принять писатель, выезжая за пределы советского государства. Стало быть, не дай вам бог подумать! Но как же в таком случае разрешается проклятый вопрос?

Он разрешается таким образом, что пока из ружей стреляют украинские националисты, фашисты, провокаторы польского типа et cetera. А кто дает им в руки ножи, палки и револьверы, а в уста вкладывает „антиправительственные“ слова и в грудь — ненависть? Не будем утверждать элементарных истин. Итак, подальше от такой политики, уважаемый читатель, от такой политики и от таких столкновений, в которых, как говорил один крестьянин, „обое рябое“... Если же

вы думаете в этот момент о западно-украинских рабочих и крестьянах, которые будто бы совсем иначе разрешают проблему национально-политического освобождения, то я должен оставить вас и отойти в сторону, не поддерживая и не оспаривая вашей мысли, отойти в сторону по той причине, что путешествую я исключительно с культурно-научной целью и не могу вмешиваться в политику.

Таким образом, мы подошли вместе с „надежной“ польской молодежью к Украинскому Академическому Дому на улице Супинского и можем посмотреть, как эта симпатичная молодежь будет бить окна, высаживать ворота, разрушать все на своем пути, как она ворвется внутрь дома и разгромит там все, что разрешается в таких случаях громить.

Выбив по дороге окна в частной украинской женской гимназии, польские погромщики уже приобрели таким образом хотя бы небольшой опыт. Итак, теперь их не останавливает то, что студенты-украинцы, живущие в Академическом доме, в это время как раз ужинают и отнюдь не расположены к тому, чтоб их громили... и когда полуразрушенное здание наполнится криками раненых, тогда появится польская полиция, к сожалению, однако... немного поздно. Тем не менее, она повлияет на „демонстрантов“ и заставит их отойти от Академического дома. Они отойдут к зданию „Просвіти“, выломают там все двери в первом этаже, все окна и оконные рамы, уничтожат огромные кипы бумаги, принадлежащие типографии, разобьют вдребезги ротационную машину и прочие печатные машины и посыпят их рукописями, которые будут летать по ветру, как голуби мира. В первом же этаже погромщики уничтожат переплетную „Просвіти“; все книги, все бумаги, которые там имеются, вылетят в разбитые окна на улицу. Если попадутся старинные рукописи, собственность национального музея, то и они бесследно исчезнут. Если же там, в помещении управляющего, окажется живой человек, девушка Михайлина Филясивна, то ее выбросят на мостовую, и она обагрит своей кровью холодный камень...

Впрочем, осторожность и тут подсказывает нам мудрый совет: не подглядывать и не вмешиваться во внутренние дела поляков... Отойдем в сторону, чтоб не видеть, как умирает в больнице ни в чем не повинная девушка Михайлина!

Зато мы с полным спокойствием можем выслушать резолюции, которые принимает польская молодежь на Марьяцкой площади.

„Академическая молодежь, собравшись в числе 4000 человек в день первого ноября, заявляет, что на всякое насилие придется ответить насиліем“.

Это во-первых.

А во-вторых:

— Молодежь требует от правительства ликвидации всяких антиправительственных, другими словами, украинских организаций, каковы „Луѓи“, „Січ“ и различные „украинские“ академические общества, имеющие своей исключительной целью антигосударственную деятельность.

17

Вечер давно прошел по улицам Львова, и вот в девять часов группа демонстрантов, или погромщиков, как именуют их ехидные антиправительственные элементы, группа молодых погромщиков подошла к редакции „Діла“ и с большим искусством разбила вдребезги ротационные машины и лино-типы, выбросила их на улицу и посыпала рукописями и прочими бумагами, которые кружились по воздуху, словно голуби мира...

Вечер сиял электрическим светом, и самоуверенные полицейские охраняли покой на улицах города. И как раз в это время на улицах Русской, Блахарской, Подвальной, где, главным образом, помещаются типографии украинских газет и различные украинские учреждения, летали бумажные голуби, звенели разбиваемые окна, стонало железо... Когда стекла во многих помещениях на Русской улице, а также на Подвальной, 7, в здании „Днестра“ были выбиты, типография „Діла“ уничтожена, магазины „Маслосоюза“ во всем городе разбиты и выполнены более мелкие задания, тогда „демонстранты“ приставили лестницу к зданию типографии „москвофилов“, „Ставропігії“, что на Доминиканской площади, и сделали и здесь все, что „надлежало“ сделать.

Таким же точно способом разбиты и высажены окна в домах украинцев-адвокатов и т. п.

Тут дошла очередь до секретариата „УНДО“, что на улице Костюшко. Сердечные! Они уже чуть было не договорились с фашистами, а тут вдруг погром. Сердечным тоже выбили несколько стекол и, что самое главное, не только нарушили то блаженное спокойствие процесса переваривания пищи, в котором они пребывали, несмотря на голодное урчание кишек того же западно-украинского рабочего и крестьянина, но еще и прервали суетню договоров с Пильсудским. Итак, „УНДО“ скапустили дело, но я знаю — это не волнует вас, уважаемый читатель, ибо вы прекрасно знаете, что есть на свете „счастливые“ партии, которых буржуазия не даст в обиду, пока существует она сама. „УНДО“ еще найдет время поторговаться с фашистской буржуазией Польши...

Слава богу, мы покончили с газетами, под конец трактуя их уже по-своему... Мы узнали из них обо всем, что нас интересовало, и теперь мы могли бы взять в руки карандаш и подсчитать те сотни тысяч злотых, в которые, возможно, уложится стоимость разгромленного и разбитого, те сотни тысяч злотых, которые, родившись в свое время из мозолей рабочих и крестьян, впоследствии попали в кооперативный „Маслосоюз“ или в „Просвіту“, или в редакцию „Діла“, или, наконец, в самый секретариат УНДО и вот на наших глазах развеялись, как дым, как пар из уст наших соплеменников, молившихся в церкви Юра...

Но мы не хотим это делать. Мы не хотим заниматься арифметикой. Ведь ничто в природе не исчезает... Все принимает только с течением времени новые формы... Итак... кровь выступит из камня...

А впрочем, мы ведь условились не делать никаких выводов.

— Как бы нам, товарищ Садовский, достать билеты на Берлин?

— Разве вы хотите так скоро оставить Львов?

— Хотя бы сию минуту...

— Ну, это уже слишком. Опасности нет никакой...

Но мы чувствуем, что его устами говорит вежливость, желание дать гостям отдохнуть хотя бы денек, что хотите, только не рассудок. Он уверяет нас, что полиция восстановила уже полное спокойствие, что она в дальнейшем, ни в коем случае, не допустит ничего подобного, что вчера это имело место просто в силу краткости срока, в который полиция при всем желании не могла успеть предотвратить демонстрацию. Одним словом, мы убеждаемся в том, что он говорит дипломатическим языком.

Но в эту минуту в комнату входит вице-консул тов. Григорьев. Мы встаем и обмениваемся приветствиями. Мы жмём друг другу руки с приятной улыбкой, — словно у всех нас в сердце цветут кусты роз и в них поют соловьи.

— А-а! Ну как?...

— Очень хорошо, прекрасно!...

— Но юбилей академика Студинского...

— Да... юбилей отложен. Об этом сообщается в газетах, — спокойно говорит вице-консул. — Однако, товарищи должны пока позавтракать!

Я уже говорил о хозяйственных способностях товарища Юльци. Конечно, у нее все уже готово, и она сердится даже, что товарищи не идут.

Я просматриваю книги в книжных шкафах и с большим удовольствием констатирую, что тут есть почти все, что выходит в наших издательствах в области украинской художественной литературы. Особенно тут, именно тут, во Львове, на той психологической почве, которая создалась под влиянием сообщаемых событий, я почувствовал острую, невероятно острую, жгучую радость за Советскую Украину, за все, ею добытое, за ее повседневное поступательное движение, за ее, за наше сказочное развитие и расцвет, за нашу славную, пышущую бодростью борьбу!

Я мысленно пожал руку Георгию Федоровичу Лапчинскому за то, что он собрал у себя в шкапах столько книг.

Мимо окна прошел человек в рыжей шляпе и скрылся за углом. Минут через пять он опять прошел. Верно у него было здесь дело, потому что и позже я видел его невдалеке от нас...

20

Мы решили остаться до завтра. Билеты до Берлина лежат уже у нас в кармане, завтра утром, в десять часов мы выезжаем, а пока можно сесть на такси и об'ехать город, осмотреть столицу Западной Украины, хотя бы из окна автомобиля, если бродить по ее улицам пешком, заходить в те места, о которых мы упоминали раньше, не вполне безопасно и не совсем удобно людям из Советской Украины.

— Итак, везите нас, пан шофер, на улицу Супинского! Везите к церкви Юра! Везите на Марьяцкую площадь к памятнику Мицкевича, где вчера звучали речи тех, которые считают себя достойными наследниками этого великого поэта... Везите и возможно скорее!

Мы, действительно, ехали быстро. Ветер свистел в ушах, и все же то и дело бросалось в глаза битое стекло и щепки от рам на тротуарах, подметенные под стены, словно после бури с градом.

Дуло холодным сквозняком из выбитых дверей и рваных ран жалузи...

— Везите, пан шофер, везите возможно скорее!..

— Ведь когда-то гонец татарского хана мчался тут на бешеном коне, и гонец киевского князя пересекал ему дорогу. У обоих играла дикая степная кровь, они стискивали зубы, скрежетавшие сильнее, чем зубья шестерни вашего эlegantного такси.

— Везите же, пан шофер, везите возможно скорее!

— И хотя бы вы мчались быстрее ветра, мы все равно замечаем каждую украинскую вывеску, каждую букву ее над дверью лавочки, склада или союза. Замечаем, словно жалкую щепку, закинутую в море польских вывесок, костелов и памятников. Замечаем! Еще острее, еще больше

потрясает нас эта жалкая вывеска, ибо она одинока в столице Западной Украины, из которой так упорно и так самоуверенно делают Львов, которую так ужасно полонируют!..

— Не останавливайтесь у церкви Юра, чтоб дать нам возможность изучить на ней рококо. Не указывайте на „церков волоску“: ее ренессанс точно так же нас не интересует в эту трагическую минуту. Мимо, мимо Бернардинского костела с львовским барокко! Мимо Кармелитского с ампиrom! Неоренессанс, модерн, каменные дома на Галицкой площади!

— Мимо!..

— Везите возможно скорее!

— Не заденьте только оборванного и голодного западно-украинского „газду“, с таким испуганным видом прижавшегося к стене со своими жалкими кляченками, запряженными в арбу. Что и говорить, „хлоп“: не знает, где остановиться, и не умеет вести себя в столице. Но мимо, не заденьте его! То, верно, его халупка мелькала в окно вагона, искривившаяся, старая и ободранная, словно нищенка... Не заденьте его! Может быть, он приехал в город купить немного соли, чтоб не было так горько жить...

— Дальше, пан шофер! А может быть, товарищ?..

— Дальше...

В „Театре Велькем“ идет вечером веселая оперетка „Таинственная дама“. Нет, благодарим, мы не будем сейчас брать билетов. Мы не знаем, будет ли настроение. Пока... Пока нет...

Пока еще ветер раздувает в груди тоскливое пламя. И хочется лететь через каменные дома и через площади, через костелы, церкви и высокие замки... Над городом, над полем. Над Западной Украиной...

— Пускайте третьей скоростью ваше элегантное такси! Только... только не заденьте этого оборванного „газду“, так жалко прижавшегося со своими кляченками...

21

Копець Унии Любельской.

Какая высокая гора! На такой горе как ярко горело бы красное знамя!

Между прочим, львовские желтоблаkitники тайком, ночью, как воры, попробовали прицепить тут свою желто-голубую „фану“. Она даже не дождалась дня: полиция в пять часов утра „удалила“ ее... и никого не оказалось возле, готового ее защищать... Герои желто-голубой „фаны“ не такие уж большие герои...

Копець Унии Любельской.

Какая высокая гора! На такой горе как ярко горело бы красное знамя!

И вот мы всходим на эту высокую гору, описывая вокруг нее бесконечную спираль. Мы вступаем на землю, свезенную со всей Польши сюда, во Львов, в Западную Украину в 1869 году, когда стали насыпать этот знаменитый „копец“. Со всех концов Польши легло тут по горсти польской земли и даже с могил Мицкевича, Словацкого и Князевича...

Кто же после этого скажет, что Львов не польский город?... Кто смеет это сказать в то время, когда вид на Львов с этого „копца“ не имеет равного себе в целой Польше!

Город лежит перед нами, спокойный, прекрасный. Мы видим даже те дома, под стенами которых битое стекло и щепки из рам. А вот там — ратуша. Вот перед нами „Латыньска Катедр“, а вот там Доминиканский костел. А вот там, далеко-далеко дым из фабричной трубы.

Так мы долго стоим на высокой горе, задумавшись над тем, что делается там, внизу, и там, за границами города — в степях, откуда маячат далекие Стрыйские Бескиды...

Мы стоим долго, пока вечер выходит из темнобронзового парка и начинает окутывать гору своим фантастическим плащом.

Тогда мы возвращаемся к такси и опять едем городом.

Огни горят густыми гроздьями.

Хотелось бы повидаться с украинскими писателями: Василием Бобинским, Петром Козланюком и другими. Но как, где, каким образом? Это совсем не так легко. Ведь мы с Советской Украины... Хотелось бы спросить, как идет их работа, когда выходит очередной номер их героических „Вікон“, получают ли они хоть часть нашей литературы.

Говорят, что сегодня в трамвае одна девушка плюнула в лицо польскому студенту за то, что он громко хвастал тем, как они били украинцев и как, мол, будут еще бить. Девушка вскочила с места, вспыхнула, как огонь, и плюнула студенту в лицо. Не успел он опомниться и замахнуться, чтоб ударить ее, как она уже выскочила из вагона...

Между тем мы подъезжаем к своей квартире и решаем все же посетить театр. Вице-консул любезно принимает на себя заботы о билетах, которые сейчас достать нелегко, ибо в театре гастролирует кукольный театр „Пикколи“, кроме того, сначала мы посмотрим „Таинственную даму“.

Дирекция театра любезно идет навстречу просьбе вице-консула, и таким образом в 8 часов мы едем в Большой театр.

Я не хочу обижать польских артистов и артисток. Все они хорошо играют и недурно поют. Да я и не мог бы их обидеть, ибо я не театральный критик, а того, что говорил наш специалист, не хочу повторять. Пусть он лучше сам

об этом где-нибудь напишет, если сочтет это нужным. Я же хочу только сказать, что в Советской Украине поют гораздо лучше. Зато куклы так артистически подпрыгивали и выполняли гимнастические номера, а служащие этого кукольного театра с такой неподдельной искренностью и так искусно выполняли за них арии из Севильского Цирюльника и неаполитанскую тарантеллу, Фуникули-Фуниколя, что можно было, в конце концов, простить их коллегам „Таинственную даму“ и слушать и смотреть кукол с истинным увлечением.

Я пришел еще в лучшее настроение, когда в антракте встретил все же в фойе писателя Петра Козланюка, с которым мы выпили в буфете лимонаду и выкурили пару папирос в дружеской беседе. Я узнал, что их героические „Вікна“ выходят вскоре двойным номером и что, вообще, работа идет у них очень хорошо. Так хорошо, так легко, что...

Одним словом, очень хорошо и очень легко...

Литературы нашей они почти не получают, ибо редко-редко кто-нибудь из авторов догадается послать им свою новую книжку или редактор — свежий номер своего журнала. Столо быть, дело, таким образом, еще более облегчается.

При выходе из театра я имел счастье познакомиться с паном редактором „Діла“, но на его лице счастливого выражения не прочитал. Впрочем, отношу это за счет панихиды в церкви св. Юра.

22

Утром, 4 ноября я в последний раз смотрел на Львов, на его крутые, узкие улицы, на монастыри и памятники. Солнечное утро пылало на золотой листве деревьев. Каменщики мостили улицу. Молодежь в круглых зеленых картузиках с колоссальными козырьками шла в гимназию и в университет.

Из монастыря вышел человек, в котором я узнал того самого, что проходил мимо окон консульства. Он был в рыжей шляпе. Я хотел остановиться возле рабочих, мостивших улицу, и прикурить папиросу. Но, подумав, бросил папиросу и пошел собираться в дорогу.

Мы выехали в 11 часов дня.

В вагоне второго класса было такое страшное „пшеповненне“, что мы никак не могли найти себе места. Тогда проводник разрешил нам занять купэ первого класса в том же вагоне, доплатив, конечно, разницу. Впервые в жизни я да, вероятно, и мои товарищи, ехали в купэ первого класса. Но мы стали центром всеобщего внимания и, должно быть, зависти. Особенно после того, как всему вагону стало известно, что мы — украинцы...

Был довольно теплый, хоть и немного облачный день. Собственно, он не был облачный, но вид серых и убогих,

безнадежно запущенных халуп, которые стоят в галицких полях, создавал соответствующее настроение.

А ландшафты, похожие на полтавские и киевские, переносили наши мысли туда, за советскую границу, на Великую Украину, где хозяйственно белеют хаты, приукрашенные рукою хозяйки, которая, возможно, вместе с тем является и членом сельсовета или общества ликвидации неграмотности. Вообще, надо сказать, что на чужбине лезут в голову самые неожиданные мысли...

В четверть второго мы проехали Пжемышль.

А дальше —

Яро́слав,

Пжеворск,

Тарнув,

Краков...

Почему - то, когда мы проезжали Пжемышль, предо мной встали призраки империализма, показалось, словно вернулось время минувшей мировой войны, и стало страшно... Может быть, повлиял в этом смысле вид польских офицеров, которых так много везде, на каждом вокзале, может быть, то, что они куда - то едут, их провожают, они прощаются с женщинами, иногда и с детьми, их длинные сабли волочатся по земле, бьют по ногам, по камням, а четырехугольные фуражки, разделенные диагоналями кантов на треугольники, словно военные карты, свисают с голов и поднимаются от ветра... Может быть, все это, вместе взятое...

Не знаю. Знаю только, что становится тревожно. И тревожно все время, пока мы едем по территории Польши... Кажется, что тебя ожидают самые неожиданные сюрпризы...

И это ужасное, прямо таки невероятное „пшеповненне“ в вагоне еще больше напоминает войну.

Ночь.

Но мы не спим...

Мы ждем немецкой границы.

С часами в руках...

24

Мы ждем ее с часами в руках, и наше нетерпение нарастает быстрее, чем поезд несется в направлении границы. Германия!..

Но лучше воздержаться от пафоса...

В вагон опять входит пан польский жандарм. Мы отдаем ему паспорта. Он просматривает польские визы и ставит на них штамп.

Конец.

Теперь мы не имеем права ступить ни шагу назад на польскую территорию, хотя бы, так сказать, и было у нас такое сильное желание...

Поезд скрипит колесами — замедляет ход. Мы по нескольку раз уже вскакивали и садились вновь. Мы вскакиваем опять. Открываем окно...

— Ист дас шон Бойтен? ¹⁾ — кричит в него наш специалист по театру, которого мы на радостях прозвали дер Йона дас Шевченко. Он не обижается. Напротив, он еще энергичнее спрашивает:

— Заген зи маль, ист дас шон Бойтен? Дейче гренц? ²⁾

Тогда мы слышим оттуда, с перрона, уверенный и сильный голос немецкого железнодорожника:

— Я - воль! Дас ист Дойчлянд! ³⁾

И мы еле успели поднять крышки наших чемоданов, чтоб дать возможность представителю немецкого контроля заглянуть туда одним глазом (большого он не требовал) и показать паспорта, и в ту же минуту были уже на перроне, где сразу же начали ознакомление с изделиями колбасной промышленности. Прости, Германия, но во - первых, мы были голодны, а во - вторых — колбаса на ст. Бойтен невероятно вкусна и пиво невероятно приятно на вкус.

„Ужин на ст. Бойтен 1 марка 50 пфеннигов“.

Записал я себе в блокнот.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

И вот веселое и бодрое солнце встало над полями Германии. Внизу, на ровной земле, молодая пшеница, густая, как щетка, и полная молодых соков, а вверх над ней ноябрьский ветер вольно катит крутые яблоки дыма из фабричных труб.

Огнеупорные домики густоразбросанных немецких поселков горят, поблескивая острыми углами черепицы кровель. К ним бегут провода, а по проводам течет голубое электричество.

Ах, я не поверил бы никому на свете, я поставил бы в залог все свои сюжеты для новых рассказов (если б нашелся охотник играть на эту ненадежную ценность), я все равно не поверил бы даже людям с авторитетом, никому, кто бы мне этого ни сказал, что я увижу здесь, на полях, над которыми ветер вольно катит крутые яблоки из фабричных труб, а по проводам, как нам рассказывали, бежит голубое электричество, что я увижу здесь симпатичную круторогую силу, воспетую чумаками и прочими поэтами моей романтической страны.

¹⁾ Это уже Бойтен?

²⁾ Скажите, это уже Бойтен? Немецкая граница?

³⁾ Да! Это Германия.

И я проиграл бы.

Ибо вот там, на краю нивы, сереет облезлыми ребрами точь в точь незаможницкий возок, а под ним сумка и какая-то одежда, как и полагается в поле.

Хозяин пашет поле „трактором“ в две лошадиных силы... А вот там и сама симпатичная рогатая сила, два настоящих вола, глядя на которых, я думаю о том, что некогда наши чумаки были хорошими кулаками.

Волы, наполнившие такой веселостью мое сердце, принадлежали, как видно, хорошему хозяину. Он развозил свой навоз и разбрасывал его кучками по полю, вполне уверенный и совершенно спокойный за свои двести пудов, которые принесет ему урожай здесь, на унавоженной почве.

„Чего только не сделает техника! Нет для нее недостижимого“ — подумал я и вспомнил нашего украинского „дядька“, который в таких случаях вполне справедливо, как уверяет Остап Вышня, замечает:

— Земля обработки требовать...

Так говорит наш украинский „дядько“, почесывает затылок и, как уверяет Остап Вышня, на том дело и кончается.

„До чего все таки доходит техника“, — снова подумал я, — но тут ко мне в голову влетает новая дерзкая мысль: „А что если это вдруг не волы, а коровы?“

Однако, это дела не меняет, и на этом я успокаиваюсь.

Я вдыхаю воздух, насыщенный пахучей сосной, мой взор потонул в рощице сереброгрудых берез, солидных дубов и лип. И вновь почему-то каждая ветка напоминает мне об Украине. А может быть, здесь сказывается бесознательное стремление к постоянным сравнениям.

И вдруг переход на легкий транспорт: сотни полторы резиновых кругов — большей частью, из красной резины, а в середине мерцает стальными лучами светлая сетка проволочек. Это рабочие выехали на работу на линии, и вот в стороне стоят их велосипеды. Они сплелись никелированными рулями и отдыхают под забором, чтоб через несколько часов покатиться друг за дружкой по ровной дорожке между двумя рядами деревьев. Их рули напоминают покоренные воловь рога, модернизированные современной цивилизацией, утонченные и усовершенствованные.

Кстати промелькнула станция Сорау.

Ландшафт на некоторое время резко меняется. Леса становятся гуще. Хвойные леса задумчиво плывут по фантастической орбите. Кое-где из их зелени блеснет желтая верхушка лиственного дерева, а чаще возносится стройная труба фабрики или завода.

А потом опять ровные квадраты полей, простертые, словно гигантские зеленые скатерти, между рощами.

Фюрстенвальде...

Княжеский лес.

Не тени ли предков последнего князя выходят на горизонт встречать вечернюю зарю?

Нет, это обыкновенная станция, недалеко от Берлина. Тут, на пороге Фюрстенвальде, солнце поднялось уже довольно высоко. Начальник станции держит поезд не больше одной минуты, потом поднимает руку с маленьким игрушечным семафором, нажимает пальцем на маленькую пружинку, и семафор зажигается зеленым огоньком. Машинист только этого и ждал. Он легко и эластично пускает поезд, и мы уже далеко за Фюрстенвальде, мы уже закурили немецкие сигареты и пускаем пахучий дымок.

— А скажите, пожалуйста, вокзал на Фридрихштрассе, в Берлине, это который будет вокзал по порядку: первый или второй? — спрашивает наш театральный специалист.

— Третий, — кратко отвечает ему гражданин с шелковым платочком в верхнем кармане пиджака.

— Ага, третий! Вот как! Значит, третий. А, нам, кажись, говорили, что второй, или как будто даже четвертый.

— Нет, третий.

— Ага, в таком случае мы очень вам благодарны! Значит, третий. И это уж наверняка?

— Да, это уж совсем, можно сказать, наверняка.

— И, значит, если мы хотим встать на Фридрихштрассе, то мы должны встать именно на третьей остановке, то есть, когда поезд, придя в Берлин, остановится в третий раз, именно тогда мы и должны встать, если желаем на Фридрихштрассе?..

— Да, вы правильно себе представляете, — с некоторым изумлением ответил гражданин.

— В таком случае мы очень вам благодарны! Простите, что побеспокоили. Но теперь мы с полной уверенностью можем встать на третьей остановке, и это будет, согласно вашей любезной информации, именно нужный нам Бангоф Фридрихштрассе... Очень благодарны, простите, что побеспокоили...

— Пожалуйста! — отвечает гражданин, всё больше изумляясь.

Наш театральный специалист так и не открыл ему своего секрета. Я думаю, что он просто - напроосто упражнялся, разговаривая по - немецки...

Бангоф Фридрихштрассе, или вокзал на улице Фридриха, это и есть тот вокзал, с которого мы, и в самом деле, выходим на улицу Фридриха, и, таким образом, прямо из

вагона попадаем на одну из самых интересных улиц Берлина.

Берлинские улицы...

Надо сказать: Ах, Берлинские улицы!

Однако, я воздерживаюсь от „ах“.

Я скажу это „ах“ в другой раз, а сейчас меня страшно заинтересовали вот те два швейцара в красных ливреях. Один из них стоит в окне магазина. В одной руке он держит огромную ручку „Паркер“, которой, верно, можно было бы написать какой угодно роман — „Чебрец - зелье“, „Тоску“, „Скуку“ и т. п., не подливая даже чернил... Левой рукой он поднимает свой блестящий цилиндр и кланяется вам, когда вы проходите мимо окна.

Второй швейцар стоит в дверях „Танц-кафэ“. Монументальная фигура, окаменевшая в олимпийском величии, равнодушная ко всему, происходящему в этом грешном мире, даже за ее собственной спиной, — эта фигура шевелит только губами и жевательными мышцами: это значит, что она приглашает в кафэ, где танцуют „chöne Frauen“, эти, пользуясь стилем старой русской литературы, „милые, но погибшие создания“.

Я останавливаюсь перед обоими швейцарами.

Долго философски оглядываю я обе фигуры и, наконец, прихожу к неожиданному выводу: одна из них деревянная. То-есть, обе они деревянные, но одна — из настоящего дерева, и как раз не та, что в дверях кафэ, как я сперва подумал. а та, что с ручкой „Паркер“ в окне фешенебельного магазина.

Констатируя это основное различие между двумя швейцарами, я озираюсь и вижу, что мои товарищи поплыли уже куда-то вдоль Фридрихштрассе в направлении к Унтер-ден-линден, где в доме № 7 помещается советское полномочное представительство.

Я спешу за ними, минуя инвалида империалистической войны, вполне прилично одетого и едущего в повозке, которой он управляет сам, собственными руками, ибо ему оторвало на войне только ноги...

— Прекрасная повозка! — успел я подумать. У нас так не умеют. У нас инвалида непременно сразу узнаешь, потому что он ходит или животом, зашитым в кожу, или коленями, тоже зашитыми в кожу. А уж тут техника! Прекрасная повозка... и главное — все прилично... Европа!

Тут я замечаю зеленый сигнал на углу Фридрихштрассе и Унтер-ден-линден. Автомобили, такси, мотоциклы, велосипеды и двухэтажные omnibuses загрохотали улицу и остановились на минуту, чтоб дать возможность улице Фридриха переплеснуть свою волну через асфальт Унтер-ден-линден.

С этой волной переплываю и я.

Мы направляемся в советское представительство. В „Гаркребо“. В отель „Shmidts Hotel Berliner Hof“, где с нас требуют большие деньги за маленькую комнату. Мы не желаем платить большие деньги за маленькую комнату.

Что делать?

Надо зайти в этот локаль пообедать. Так мы и делаем. Мы спускаемся вниз по лестнице, заходим в локаль и говорим:

— Гер Обер, Шпайзекарт!¹⁾

Гер Обер ростом в колокольню голосом громкоговорятеля отвечает нам: „Битте, майне геррен!“²⁾ и подает нам все, что мы хотим. Таким образом, за небольшие деньги мы получаем большую порцию картофеля и кусок мяса, а еще за тридцать пфеннигов — кружку пива. Хлеба к обеду не дают. Зато беседовать с интернациональным спортсменом из Витебской губернии, об'ехавшим на мотоцикле весь мир и сейчас не имеющим уже ни одного свободного местечка ни на груди, ни на животе, ни на спине, где б можно было прицепить еще хоть одну медаль, — беседовать с этим знаменитым спортсменом мы можем совершенно бесплатно.

— Гаспада, — говорит знаменитый спортсмен, — гаспада, я слышу: вы аттуда... Прекрасный русский народ! Я живу здесь рядом, в гостинице „Рига“, две марки в день. Но, действительно, прекрасный русский народ! Вот я, например, аб'ехал двадцать шесть государств, нахожусь в двадцать седьмом и еду сейчас в двадцать девятое...

Нам показалась эта личность загадочной. В самом деле, как можно, об'ехав двадцать семь государств, хотя бы и на мотоцикле, пусть даже с медалями и жетонами, ехать сразу в двадцать девятое, не побывав сначала в двадцать восьмом? „Нет, тут что-то не так... — решили мы и вышли из локаля.

Вышли мы опять таки на улицу и встали перед вопросом, что же нам делать дальше? Дальше нам не мешает припомнить, что на Эльзасерштрассе 47/48 есть пансион фрау Краенбринг, где останавливалось уже немало представителей украинского искусства. Бас Потаржинский, soprano Сокол и тенор Середа жили именно в пансионе фрау Краенбринг. Что же до представителей той скромной отрасли нашей культуры, к которой причастен и я, то — есть, литературы, то Владимир Коряк и Иван Ле живут в этом пансионе и сейчас.

Итак, нам стоит только вспомнить об этом, сесть в омнибус № 5, купить за двадцать „феников“ билет и доехать до угла Шосерштрассе и Эльзасерштрассе.

¹⁾ Господин официант, меню!

²⁾ Прошу вас, господа!

Так мы и делаем.

Спустя несколько минут мы сидим уже в столовой - гостиной нашего пансиона и получаем первую порцию беседы с нашей фрау, женщиной солидного возраста и мягкосердечной. Она высказывает свое политическое кредо, и мы весело принимаем его во внимание. Во-первых, она квалифицирует последнего императора бывшей Российской империи, как шнапсенгендлера (Schnapsenhändler¹⁾) и ничего не имеет против того факта, что сейчас у нас советская власть... Такая лояльность по отношению к нам нас очень трогает, и мы, наконец, спрашиваем фрау:

— Значит, шесть марок в сутки?

— Да, да, вы будете, как у себя дома. Нигде вы не будете себя чувствовать спокойнее.

Мы остаемся. Шесть марок за комнату, завтрак, обед и вечером чай. Конечно, мы остаемся.

Так счастливо закончился день 5 ноября 1928 года.

Но ни тов. Владимира Коряка, ни тов. Ивана Ле я тут не увидел. Они выехали в Бремен и Дальменгорст. Я с грустью узнал об этом, но читателям журнала „Гарт“ этот их отъезд, несомненно, на руку, ибо Иван Ле именно там будет писать свой рассказ на основе Дальменгорстского материала, рассказ, который, несомненно, появится на страницах журнала „Гарт“²⁾.

4

На второй день, шестого ноября, накануне седьмого ноября, я мечтал о тех огнях и знаменах, которые будут завтра гореть на улицах Харькова, и о тех многолюдных толпах, которые завтра наполнят улицы радостным „слава“.

Я стоял на мосту у вокзала Фридрихштрассе и смотрел в темные, быстрые воды Шпрее, над которыми тревожно летали чайки. Осенний ветер издевался над моим тонким пальто. Однако, я не замечал его. Чайки кружили над головами толпы, которая постоянно стоит здесь и бросает в воду куски бутербродов. Птицы подхватывали крошки в воздухе, а более смелые вырывали бутерброды прямо из рук.

Было холодно. Настроение бодрое и радостное. Странное чувство: незнакомый город, и, чтоб найти улицу, приходится разворачивать план, если не хочешь расспрашивать у прохожих, полицейских, кондукторов, газетчиков. Город-гигант, и среди миллионов его обитателей ты — словно маленькая пылинка, ты — незнакомец среди тысячи тысяч незнакомцев. Они плывут мимо тебя по асфальтовым тротуарам, мчат в моторах, мимо тебя и над тобой гремят

¹⁾ Торговца водкой.

²⁾ Автор не ошибся. Рассказ Ивана Ле под названием „Отец Вергун“, действительно, напечатан в № 2 журнала „Гарт“ за т. г.

вагончики... Ты спускаешься под землю, и там тысячи тысяч незнакомцев пролетают в электрических вагонах. Они появляются из темного туннеля и пропадают в темном туннеле... Ты садишься с ними и тоже выходишь где-то за десятки километров. Выходишь где-то в северной части города, и, словно в сказке, исчезли пред тобой волшебные рекламы на звонких волнах электричества. Пропали. Их нет. По пустынной улице гулко звучат шаги. Фонари на низеньких столбах, убогие фонари стерегут покой глухих кварталов...

Было холодно. Бодрое и радостное настроение. Весь день такое настроение.

Вечером я еще раз внимательно перечитал объявление в „Роте Фане“. Там было напечатано:

„Вторник, 6 ноября.

11 округ, Шенберг-Фриденау. В 20 часов, Липовый парк, Гауптштрассе 13. Тов. Марта Арендзее, член Рейхстага, прочитает доклад на тему „11 лет русской революции — 10 лет немецкой республики“. Декламация, световые картины. Вход свободный.

Среда, 7 ноября.

3 округ. Веддинг. Большой открытый митинг в Фарус-зелен, 1, Мюллерштрассе. Начало в 19,30. До начала — демонстрация, собираться 18,30, Леопольдпляц“.

Затем — четвертый, двенадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, двадцатый округа... Штеглиц, Лихтенберг, Вайсензее, Райникендорф... Всюду, по всем округам — митинги, выступления, празднества...

Я еще раз внимательно перечитал. Потом принялся при помощи „зухера“ искать на плане Берлина Гауптштрассе. Нашел я ее на IV линии, под цифрой 28, литера Z.

5

На воротах, посреди двора, мне встретились две женщины. Это были работницы с какой-то фабрики. Одна еще совсем молодая девушка, а другая уже истощенная работой пожилая женщина. Ветер разметал им полы платья и волосы на непокрытых головах. В одной руке каждая из них держала пачку бумаг, а другой старалась получше запахнуть полы, защищая их от ветра. Они оживленно о чем-то беседовали, но, как только я подошел к самым воротам, обе умолкли.

— Скажите, пожалуйста, где вход? — спросил я.

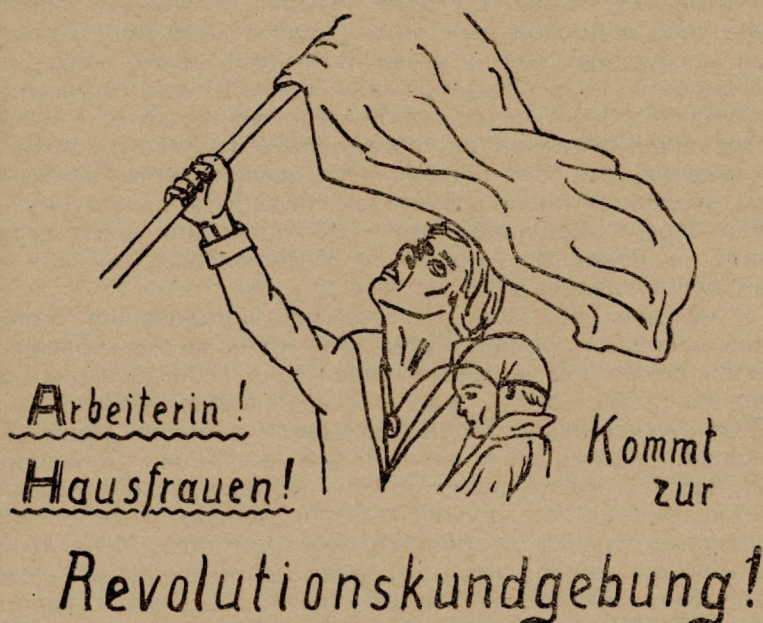
— А вам куда? — спросила женщина. А девушка прибавила:

— На празднество?

— Да, — ответил я, — не будете ли вы добры показать мне, где именно будет митинг?

— Прямо и налево.

И женщина, указав рукой на низенький Гартенгауз, дала мне одну бумажку из тех, которые она держала в левой руке. Я отошел на два шага и, развернув ее при свете, стал читать¹⁾:



Am Dienstag, den 6. Nov. 28. abends 8 Uhr

im Lindenpark Hauptstr. 13

Reichstagsabgeord: Gen. Arndsee spricht über

11 Jahre russ. Revolution

10 Jahre deutsche Republik

Aus dem weiteren Programm: Musik • Rezitation • Lichtbilder •

Eintritt = frei =

K.P.D. Frauen 11. Bez.

R.F.M.B. 11. Abt.

¹⁾ Текст плаката - листовки: Работница! Домашняя хозяйка! Иди на революционный митинг! Во вторник, 6 ноября 28 года, в 8 часов вечера в Липовом парке, Гауптштрассе, 13, член Рейхстага тов. Арндзее произнесет речь на тему: „11 лет русской революции — 10 лет немецкой республики“. Затем в программе: музыка, декламация, световые картины. К. П. Г. (Коммунистическая партия Германии) 11 женский округ. Революционный Союз женщин и девушек. 11 отдел. Вход свободный.

Потом я подошел к низенькой двери и вошел в локаль. Это был низенький, но довольно просторный зал. У самого порога стоял маленький столик, а возле него сидели опять таки работницы. Они собирали деньги с приходивших на митинг. На столике стояла тарелка, и каждый бросал в нее свой добровольный взнос. Дело в том, что в германской республике, как я узнал потом, рабочему негде отпраздновать 11 лет октября или даже 10 лет германской республики. И вот, если уж он непременно хочет сойтись с товарищами накануне праздника — послушать доклад, декламацию, песни и т. п., то пусть воспользуется любезностью владельца пивной, буде тот согласится нанять ему на вечер свое помещение марок за сорок или шестьдесят. Никто не помешает: можно не беспокоиться, так как за этим будут следить.

Я не знал об этом. Не обратив внимания на столик возле дверей, я прошел в угол зала и сел за обыкновенный пивной столик, за которым сидел уже один средних лет человек. Кроме того, в зале, как и во всякой пивной, было еще много столиков. За одними сидели рабочие, женщины, девушки, старухи, даже дети, а другие столики оставались еще незанятыми. Я заметил, что публика, между прочим, не отказывается от кружки пива, и заказал и себе. Итак я спокойно занялся подробным осмотром зала. Меня сразу очень поразило сходство этого зала с нашим сельбудынком¹⁾ где-нибудь в далеком глухом углу или даже с клубом в маленьком провинциальном городке. Весь потолок из угла в угол был обвешан красными бумажными флажками на веревочках. Точь в точь как у нас, в рабочих клубах в глухих углах или в сельбудынках. Посреди потолка — гвоздь, а от него частыми радиусами во все концы — флажки из красной бумаги. На них осела пыль. От частого хлопанья дверей флажки на ниточках шевелятся, тихо шелестят.

В одном углу буфет, прочно по-хозяйски установленный. В другом углу небольшая эстрада из простых досок, украшенная кумачем и большой пятиконечной звездой с советским гербом. Звезда из красной бумаги, натянутой на деревянную раму. Посередине горит электрическая лампочка, и благодаря ей звезда кажется большой разгоревшейся искрой, которая случайно упала сюда и так и застыла, опершись одним концом о стену, а другим застряв в шаткой эстраде, здесь, среди усталых рабочих, собирающихся сегодня на праздник...

Света в зале немного, пожалуй, даже совсем мало. Ведь, это не роскошное „Кафе-танц“. И не так уже много за платят рабочие за помещение, чтоб еще устраивать им какую-то праздничную иллюминацию.

¹⁾ Сельбудынок — дом крестьянина.

Наш столик стоял у самой печки, в которой тлел уголь. Человек, сидевший против меня, пошевелил плечами, поправил плохенький шарфик на шее, ближе прислонился к печке. Разумеется, мне хотелось поговорить.

— Холодновато? — спросил я.

— Немного!

— Вы, верно, простудились?

Он был в легеньком пиджачке, вытертом на локтях, в засаленной фуражке, без воротника и галстука и с шарфом на шее. На изможденном бледном лице проступала редкая щетина. Щеки и лоб, словно скомканная бумага, были все в складках. Он, очевидно, совсем не имел пальто, ибо здесь никто не раздевался, а он сидел в одном пиджачке с поднятым воротником.

— Чуть пробирает, но я не боюсь холоду, — ответил он вполне серьезно.

Я подумал с полминуты и предложил:

— Не выпить ли нам с вами по кружке пива? Видно, митинг сейчас еще не начнется.

Он не возражал, придвинулся ближе к столу и назвал свою фамилию. Мы познакомились. Он, конечно, с первых же слов узнал во мне иностранца — из-за моего плохого немецкого языка. Тогда он спросил:

— Вы не оттуда? Не из России?

Я ответил, что он угадал: „оттуда“, только с Украины, а не из России. И кратко рассказал ему о своей стране. Но он уже кое-что знал о ней, ибо в годы империалистической войны был в плену. Удивительно, с кем ни заговоришь о наших краях, всякий: „а, знаю... был в плену“. А между тем, германская армия, как известно, сражалась с бешеным упорством.

Мой новый знакомый не скрывал ничего. Он сразу рассказал, что он безработный, что у него жена и дети, а всего семьи девять человек и получает он ежемесячно двадцать четыре марки государственного пособия, то есть на наши деньги двенадцать рублей. Затем он сообщил мне, что завтра будет большой коммунистический митинг на Мюллерштрассе, в районе Веддинга, и что он там непременно будет, можно даже пойти вместе, если у меня есть охота. Я вынул „Роте Фане“ и показал объявление, которое я обвел химическим карандашом.

— Не об этом ли митинге вы говорите?

— Конечно! Вы уже знаете? Тем лучше. Хотите, пересядем вон за тот столик? Там мои товарищи. Сегодня тут будет полно народу. Посмотрите, какие они франты! Не правда ли? Вот та старая женщина, видите, седа? Она мать вот этого моего приятеля. А вот там дальше его жена. Я тоже пришел с дочерью. Она работала уже на фабрике,

но сейчас она тоже безработная. Между прочим, вы бросили в тарелку? За помещение?... Не знали? Можно бросить.

Я подошел и бросил...

Мы пересели к компании, о которой говорил Макс (так называли его приятели), и все перезнакомились. Народу, действительно, набилось полным полно, и спустя несколько минут в зале раздался голос работницы, которая вышла на эстраду и объявила об открытии митинга.

В тот же момент заиграл оркестр... Несколько мандолин и гитара... Они заиграли (да, я не ошибся): „Смело, товарищи, в ногу!“ Первой они сыграли именно песню: „Смело, товарищи, в ногу!“ Собственно, на этот мотив. И при первых же звуках этой песни весь зал встал. Все громко и стройно запели:

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit,
Brüder, zur Lichte empor,
Hell aus dem dunklen Vergangenen
Leuchtet uns Zukunft herfor¹⁾.

Пели, как гимн. Стены низенького зала словно раздвинулись. Под потолком трепетали флажки. Из-за громких голосов не слышно „оркестра“. Только во время пауз он трогательно бренчит своими тоненькими струнами.

Seht, wie der Zug von Millionen
Endlos aus Nächtigen quillt,
Bis euer Sehnsucht Verlangen
Himmel und Nacht überschwillt²⁾.

Мой приятель старается произносить слова как можно более четко. Но я могу подхватывать только вторую половину куплета, когда ее повторяют. Да и то вместо незнакомых слов мне хочется пропеть:

Сами набьем мы патроны,
К ружьям привинтим штыки.

Но они поют иначе. У них другие слова на этот мотив. Крепнут, ширятся, вырываются в окна последние строки:

Brüder, in eins nun die Hände,
Brüder, das Sterben verlacht:

1) Братья, к свободе и к солнцу,
К свету, все выше пойдем,
Ясно из тьмы прожитого
Светит грядущее нам.

2) Видите, наши колонны
Стройно выходят из тьмы,
Небо и ночь лишь покроют
Громкие их голоса.

Ewig der Sklaverei Ende,
Heilig die letzte Schlacht.¹⁾

Как только кончили и заняли места, оркестр грустно заиграл „Варшавянку“. Все прослушали молча. Потом работница с эстрады огласила порядок дня, а за ней на эстраду вышла девушка, получившая первое слово, и стала читать революционные стихи Иоганнеса Р. Бехера. Она читала стихи, направленные против войны, и зал награждал ее громовыми аплодисментами.

Затем сыграли какую-то песню на мандолине.

После этого в зале погасили свет.

Работница, руководившая митингом, подошла к волшебному фонарю и стала рассказывать о судьбе немецкой женщины-работницы, о судьбе матери и ребенка. Слушатели поддерживали ее довольно категорическими репликами по адресу своей буржуазии и социал-демократов. На каждую световую картину, появлявшуюся на стене, они реагировали искренно и недвусмысленно. Особенно зашумел зал, когда после голодных истощенных детей на стене появилась безупречная выхоленная фигура премьера Мюллера с большим броневином на руках. Он прижимал его к груди, как маленького ребенка или голубя мира, которого он может каждую минуту уронить, а зал кричал изо всех углов:

— Господин министр, нажми-ка: может быть, из него потечет молоко для наших детей... — За этим последовал громкий и злобный смех.

Затем докладчица поставила новый диапозитив, и на стене засмеялись наши советские карапузы, воспитанники детских яслей. Они были такие веселые и толстые, что зал, словно подхваченный вихрем, покрыл их аплодисментами и шутками. Мой приятель кричал мне что-то над самым ухом, а его товарищи обращались к нему:

— Макс, не правда ли, чистая работа? Большевицкая работа...

— Доннерветтер!

— Геноссин, куда вынимаешь? Давай опять карапузов!

Наконец, мелькнула последняя картинка. Это был большой во всю стену пфенниг, перечеркнутый двумя толстыми черными линиями. Под ним такими же монументальными линиями было написано:

„Ни один человек ни одного пфеннига на войну!“

Блеснул свет.

¹⁾ Братя, возьмемся за руки,
Смерти презренье мы шлем:
Кончились рабство и муки,
В бой мы последний пойдем!

Мандолины заиграли „Дубинушку“. Товарищ Макс поправил шарф и попробовал подхватить вторую половину куплета:

... Wenn auch viel ich vergass,
immer bleibt doch die Weis
Von der Arbeit mir treu in dem Herzen ...¹⁾

но, кроме настроения, нужен еще и голос, а им товарищ Макс был не слишком богат. Поэтому он махнул рукой, а затем прибавил и без слов понятный жест.

— Люблю „Дубинушку“! Страшно люблю. He, du Knüppelchen, du grünes, he und willst nicht von selber gehn, wir helfen, wir helfen, so gib ihm²⁾, — сказал он. — Прекрасная песня! Но, слушайте, сейчас наши фрауен споют хором. Это, видите ли, „Союз пролетарских женщин и девушек“. Боевая организация! Вы не верите? Это они — организаторы сегодняшнего праздника. А это их главная деятельница, та, что показывала картинки. Славная женщина! Не верите? Она занимается также и спортом. Что, вы не верите? Моя дочь тоже хорошо понимает в пении. Сейчас она войдет...

Я не успел ничего ответить товарищу Макс, ибо из толпы, в самом деле, вышли десять работниц и, немного стесняясь, улыбаясь и потупив глаза, словно не привыкшие к такому большому всеобщему вниманию, стали у стены, примыкающей к эстраде. Это были уже пожилые работницы и жены рабочих, а частью их молодые дочери. Они были одеты в простенькие белые блузки, а на груди у каждой цвел красный бант.

Они спели несколько песен из сборничка „Лидербух“, отпечатанного на машинке. Товарищ Макс достал мне этот сборничек, и я сохранил его на долгую память об этом незабвенном вечере... навсегда...

А где ж та девушка, которая стояла на воротах и спросила у меня: „На празднество?“ Мне бы очень хотелось увидеть ее! Почему у нее такие тихие, такие печальные глаза?

В этот момент главная „деятельница“ вновь появилась на эстраде.

— Товарищи, — сказала она, — товарищ Марта Арндзее, которая должна была на сегодняшнем собрании сделать доклад на тему „11 лет русской революции — 10 лет германской республики“, заболела и поэтому не может выступить. Доклад сделает другая.

¹⁾ ... Если я и забыл многое, то мелодия труда
Останется верна в моем сердце...

(Но из песен тех всех в душу врезалась мне
эта песня рабочей артели.)

²⁾ Эй, дубинушка, да ухнем, эй, зеленая, сама пойдет, подернем,
подернем, да ухнем!

Она назвала фамилию.

Докладчица подошла к столу и стала говорить. Ей было года тридцать два.

Она оказалась прекрасным митинговым оратором. Она делала такие смелые сравнения положения рабочих в Германии и в Советском Союзе, с такой исключаяющей сомнения ясностью вскрывала политику социал-демократии, приводила такие головокружительные контрасты в социальной действительности своей страны, и голос ее звучал так уверенно и так искренно, что весь зал тянулся к ней глазами, слухом, сердцами, словно притягиваемый магнитом.

— Прочь руки от Советского Союза! Пролетариат всех стран пролил много крови за свои права, за свою власть! — произнесла она последние слова, покрытые дружными аплодисментами и криками „гох“.

Все встали со своих мест.

Первые слова „Интернационала“ разнеслись по залу, заливая своими волнами звуки мандолин, этих наивных, убогих мандолин, на которых играли юноши...

...Völker, hört die Signale:

International...

Уважаемый читатель! Вы понимаете мои чувства без слов, не правда ли? Прекрасно! Значит, я могу прямо сказать:

— И на этом „деятельница“ закрыла собрание...

Да, но я, наконец, увидел ту девушку — помните: с такими тихими, с такими печальными глазами. Девушку, которая стояла в воротах и не шла у меня из памяти, завладев моим сердцем...

Она стояла там, в противоположном конце зала, и смотрела... в нашу сторону. Смотрела в нашу сторону, несомненно. Искала даже кого-то глазами. Нужно ли говорить, что я...

— Алло! — взял меня за руку товарищ Макс. — Вот стоит моя дочь, Элли. Мы пойдем домой вместе, не правда ли? Элли, погоди минутку! Пойдем! — И он повел меня через зал к той девушке...

— Элли, это товарищ из страны советов. С Украины.

Мы пожали друг другу руки. Она улыбнулась мне, как знакомому, и спросила:

— Как же вам понравилось? У вас, конечно, умеют это делать лучше...

— Ну, что вы! У нас гораздо хуже, — сказал я вполне искренно. — У нас, во-первых, скучнее. Раньше всего утомят длинными докладами, а потом, часов в двенадцать или

в час начнут долгий - предолгий концерт. И поют там оперные актрисы о том, как

...дрожит сирень
в пылающей руке...

Она засмеялась. Но я видел, что она не поверила мне. Она подумала, что я шучу. .

Мы шли вечерними улицами. Берлин скрывает тогда свою тяжелую казенную выправку. На его могучих коленях танцуют и смеются розовые балерины и желтые кокотки. И золотой коньяк падает электрическими каплями в гигантский хрустальный бокал рекламы — где-то под самой крышей пятиэтажного дома. Полисмены сверкают лакированными касками и блестящими нарукавниками. Хочется зайти в большие блестящие двери и заказать что-нибудь вкусное на ужин... Мы, между тем, проходим Липовый парк. Еще немного — и уже недалеко до Масенштрассе, где живут мои хорошие знакомые.

Элли отказывается идти с нами ужинать. Она уверяет меня, что у нее немного болит голова. Товарищ Макс пытается потихоньку что-то напевать, но у него ничего не выходит. Теперь я вижу, что ему, в самом деле, холодно в одном пиджачке. Я жму руку милой девушке Элли — мы подошли к воротам, и она со мною прощается.

— А вы долго тут пробудете?

— Совсем недолго.

Так мы расстались.

— Алло! — сказал я тогда товарищу Макс. — Где тут поблизости приличный ресторан, где мы могли б с вами хорошо поужинать?

Товарищ Макс не возражал. Он поправил шарф, поднял выше воротник своего пиджачка, и мы пошли к ближайшему ресторану.

Там, в уютном уголке, среди дыма, в тепле, прогорклom от табаку и испарений густого пива, под смех подвыпивших шоферов и их веселых „дам“, под звуки джаз-банда и медную мелодию музыкантов безработный рабочий Макс рассказал мне грустную историю своей безработицы и жаловался, что скоро союз уменьшит ему пособие, так как проходит уже положенный срок...

Он по специальности печник. Но его приятель — металлист. Он (приятель Макса) был даже членом делегации в страну советов. Так вот его тоже выкинули. Теперь он тоже безработный. Однако Германия такая страна, что не даст умереть с голоду. Ого, бояться нечего...

Товарищ Макс был настоящим оптимистом.

Когда официант подал ему, наконец, горячий бифштекс, он быстро с'ел его даже без хлеба. А запив ужин пивом,

товарищ Макс стал даже весело насвистывать... И когда я стал рассчитываться с официантом, он шепнул мне:

— Я думаю, что ему надо дать еще пфеннигов двадцать. Не правда ли? Тут все дают...

Мы вышли на улицу и вскоре попрощались. Жалкая фигура Макса нырнула в толпу и скрылась. Мелькнули только поля плохенькой шляпы и край шарфа из-под отвернутого воротника.

— Станный вы, товарищ Макс...

И я пошел бродить по ночному Берлину. Впечатления бурлили во мне, подобно морю. Ничем их не заглушишь — ни криком, ни звоном, несущимися из дверей кафе, ни каплями золотого коньяку, падающими в хрустальный бокал рекламы...

Ничем их не заглушишь...

Когда я совсем поздно вернулся домой и позвонил, мне открыла Марихен, девушка, которая служит у нашей фрау.

— Господин доктор, вы где-то очень уж поздно гуляете, — сказала она и посмотрела на меня лукавыми хитренькими глазками.

— Да, вы угадали, фрайлен, — ответил я в тон ей, довольный, что это дитя так далеко от истины...

Я вошел в свою комнату, как можно тише, чтоб не разбудить нашего театрального специалиста, открыл чемодан, достал дневник и сел к столу.

На балконе дома визави до сих пор орали корпоранты...¹⁾

С украинского перевел С. Р.

¹⁾ За недостатком места редакция вынуждена прервать на этом печатание произведения, на украинском языке печатающегося в журнале „Гарт“.

М. ШАВЫКИН

КУБИК

(Рассказ)

I

Мокрыми кнутами со свистом хлестал расходящийся ветер по изъеденной ржавчиной железной крыше вокзала, гроыхая остатками водосточных труб. Вздурораженное мартовское небо безостановочно вытряхивало из косматой шубы обледенелую изморозь.

Тускло мигали кое-где редкие электрические фонари, то-и-дело совсем потухая. Обшарпанный железнодорожный вокзал подозрительно молчал и становился страшным, когда меркнул свет и в темноте кто-то начинал двигаться и шарить по платформе. Но вспыхивал опять слабый электрический свет, и с ним пропадало все беспокойное.

Серые, в тяжелых сапогах и больших овчинных шапках, теснятся херсонцы у кассы, ожидая билетов. А на заплыванном холодном вокзальном полу и частью снаружи, вокруг вокзала, под дырявым навесом, у стены здания, вповалку на холоде и ветре ждут херсонцев их жены и дети. Страшно было оставаться дома в голоде и одиночестве: если уж умирать, так умирать вместе.

Мокрые серые фигуры вперемежку с серыми вздутыми мешками: в них зерно для обсеменения — их надежда, их спасение. Местами между ними втиснулись с такими же мешками чужие люди из других мест, деревенские и городские, с бритыми начисто лицами, с папиросами в зубах, сыплющими искры по ветру.

— Что ты... спалишь огнем... гляди!...

— Сама гляди!

— Мешки... гляди!...

— Вот придут наши мужики, они покажут вам: чего затесались промеж нас?

— А у тебя билет на это место? Да?

— Мамо-о... хо-о-лодно!...

— На картошки горячей с солью... погрейся... укройся рядом, подожми ноги под живот, держи горячую картошку в тряпке... та-ак...

Укутывает ребенка.

— Подожди, сбегая за малой нуждой на минутку... сейчас!

— Мамо!..

Опять тухнет свет. Все летит в черную пропасть. Сразу вырывается раздирающий воздух женский крик:

— Что ты, чорт паршивый, по ногам бегаешь? Будь ты проклят... чорт!..

— Табак уронил...

— Ой, глазоньки тютюном засыпал... ой, люди добрые... караул!..

— Чего орешь, кобыла доморощенная!..

На крик в темноте бегут со всех сторон, сталкиваются, перепутываются, тычут кулаками, пыхтят, кричат, прыгают через лежащих, давят ноги, руки, роняют и подхватывают мешки, падают опять, вскакивают и бегут...

Среди женщин и детей паника, крик и плач. Еще и еще... А тут у самой платформы неожиданно из мрака вылезает ослепительный глаз буферного фонаря, и паровоз, весь окутанный паром, шумно пыхтя, медленно протягивает за собой красные вагоны.

Шту-ту-ту... Шту-ту-ту...

— Садись! Захватуй вагоны-ы-ы! А-а-а-а!..

— Ой, украли, украли два мешка с пшеницей! Вот, ей-богу, сейчас... и одежду украли... Караул!.. Люди добрые, да что же это такое... и что теперь станем де-е-лать... головушка моя горькая... — с отчаяньем причитал в толпе молодой женский голос...

— Торбохваты!!

— Кто на Знаменку, са-а-дись!

— Люди добрые, може, кто по ошибке схватил? На мешках полосатых черные кресты нашитые...

— Уходи ты, бабо, из-под ног, не мешайся, под вагон попадешь... Торбохваты схватили...

— Тютюном засыпал и не побачила. Ой, головушка моя горькая!.. Ой, Василию...

Серый мартовский день. Южный почтовый поезд стоит у платформы. Снуют торопливо из буфета и в буфет пассажиры с чайниками, свертками и хлебом в руках. Бездомные шелудивые собаки под вагонами. Полураздетые дети ожидающих херсонцев с изможденными лицами жадными глазами следят за проходящими пассажирами, толкаются около старших и держатся за платья матерей. Тянутся их заостренные мордочки к окнам мягких вагонов, откуда рассеянно смотрят на них сытые, хорошо одетые проезжающие.

Черные от грязи и угля беспризорные трутся около вагонов и между пассажирами.

Кто-то с площадки мягкого вагона бросил собакам на платформу кусок белого хлеба, и ребятишки с криками, сбивая с ног друг друга, сваливаются в живой клубок, шаря руками по загрязненной платформе.

— Собакам бросают на землю хлеб чистый... гляди-ка-сь! — негодуют истощенные матери с Херсонщины в овечьих кожах, укачивая плачущих грудных детей.

Вся в слезах, придерживая за руку пятилетнюю девочку, бродила в толпе молодежи, у которой ночью украли мешки.

— Ой, тетечко... — обняла она пожилую женщину в кожаных: — и что мы будем теперь с Василем делать, и с чем мы домой вернемся...

— Не плачь, Стеха, оставайтесь лучше здесь: люди вы к городу привычные, проживете как-нибудь, а за хатой вашей и за всем будем глядеть по-соседски.

— Ой, тетечко, как же мне тя-яжко... — Девочка, глядя на мать, заплакала.

— Будет тебе, Степанида, перестань! — остановил ее подошедший Василий.

— Слушай, Василий, иди в ОРТЧК'а, спрашивают тебя, должно, насчет покражи, — подошли товарищи.

— Чего я пойду? Только время зря тратить, ищи ветра в поле, — ответил Василий и сплюнул, крепко выругавшись, — не с чем домой ворочаться: вот беда...

II

— Так вот, Кубик, я тебе говорю: закончи поскорее колодезь у казармы: к 1-му числу перевозжу туда сторожа с семьей.

— А рабочего мне дадите в помощь? — прогундосил Кубик, приземистый, с продавленным носом.

— Еще что? Получай за всю работу чохом, а там хоть с женой работай, какое мне дело: ведь ты рядчик...

— А от биржи труда не будет чего?

— Чорт с ней, с этой биржей! Ты записан там, с тобой и договариваюсь, а там, как знаешь, — и на Кубика холодно глянули поверх стекол стальные глаза.

— Ежели с биржи, то от вашей цены мне гроши останутся. Прибавьте малость — тогда можно.

— Нечего тратить время, иди и заканчивай работу!

— Так-то так, да...

— Чтoб через неделю все было сделано, больше ничего!

— Такой разговор вели в конторе строительного участка новой железнодорожной ветви начальник участка

с колодезником Григорием Кубиком или по-уличному — Кур-носом.

А через два дня ранним утром еще до рассвета на окраине местечка, около кладбища, в маленькой белой хатке с красными воротами жена Кубика собирала мужа на работу и готовила ему поесть.

На столе едва мерцала, мигая глазком, керосиновая коптилка, и комната освещалась больше пламенем топившейся русской печи.

— Ты бы хоть лоб-то перекрестил: сядишься за стол, не молясь, и не даст господь счастья за это... — ворчала хозяйка, — ну, садись уж, садись, ешь, — и сама присела к столу, подвигая к мужу деревянную ложку, крупная и сильная, лет 40 с небольшим, с правильными чертами обветренного лица, на котором играли огненные блики от пылавшей печи. — Вон люди-то, у которых леригия есть и бога боятся, все чисто по своим домам живут, коров держут, свиной и прочее хозяйство, а у нас, окромя пяти кур с петухом, ничего нету, поросенка купить и то нехватает. Бьешься, бьешься, как рыба об лед, весь век так с тобою... Чего же ты ложку кладешь на стол? Ешь! Вот Петрушка давно штой-то ничего не пишет, тоже матери беспокойство и сумление, а отчего? В отца пошел: такой же необстоятельный да непосидчивый. Легко-ли: на еропланах летает. А для чего, подумаешь, ему это нужно? Лучше бы на железную дорогу слесарем поступил: больше было бы толку. А кто виноват, Григорий, как не ты? Летуны вы оба, летуны: так вся ваша жизнь и пролетит в трубу и никакого звания после вас не останется, так дураками и помрете бездомовными, прости меня, господи!..

Взглянула на икону, как бы ища поддержки и, крестясь, вышла из-за стола. Кончил есть и Григорий.

Чувствовал он, что по-своему жена его права: не было у него той удачи в делах и основательности, чтобы жить так, как хотелось жене — иметь свой дом, корову и пр. Права она и относительно бога: не видел Григорий никогда от него реальной поддержки и, надеясь на собственные силы, обходился без него. Но что же он мог сделать, когда частенько приходилось искать работу и не находить, когда нельзя быть уверенным, что завтра будет хлеб и будешь здоров.

Вот недавно записался на биржу труда, да что толку? Если работа есть, она его рук не минет, а нет работы — и биржа не поможет. Вот колодезь: прижимает начальник участка, не дает настоящей цены, чтобы мог Григорий взять себе настоящего помощника закончить работу. Каждый старается, чтобы Григорий сработал ему как можно дешевле: вот и батюшка со своим сортиром... Обещал, когда

Григорий купит козу (для чего он уже скопил тайком от жены нужную сумму денег), дать ему право пользоваться травой с кладбища. А Растворов, бывший до революции первым богачем в этих местах, тоже старается его обсчитать на плотине: рядились поденно, и после двух недель работы не записал двух дней. Держи ухо с ними всегда остро, не то обставят за первый сорт...

Правда, Дувид все обнадеживает. Говорит: „держись, товарищи, крепче — мы победим...“ а пока что ничего еще не видно... Да...

Конечно, жена правильно сказала о Петруше. Таким же точно был в молодости и сам Григорий: как и сын, полный доверия и доброжелательности ко всем, но мало заботящийся о своей судьбе и совершенно не способный устроить собственную жизнь.

Тряхнул головой:

— Ну, ты это, жена, напрасно! — и вытер ладонью губы, — вон в Херсонщине люди траву „курай“ вместо хлеба едят, кошек или, к примеру, собак и мрут как мухи... Вот это — беда! А ты говоришь и жалишься несправедливо: у нас еще есть хлеб настоящий, чего тебе — сыта и здорова... грешно так... чай, не буржуи какие...

— Будешь сыта и здорова... кабы базар не выручал, сидели бы оба голодные... Вместо хлеба лепешек тебе житных кладу с картошкой, смотри-ка-сь: не мало ли?

В этот момент кто-то постучал в окно.

— Сейчас, Василий, выхожу! — крикнул Григорий, отодвинув занавеску на окошке, за которым уже начинало светать: — взял я на работу с собою опять вчерашнего херсонца, Василием звать. Говорил тебе: на станции у него украли и пшеницу, и одежду. Жена да девочка с ним. Вот это беда, в аккурат... а ты... — И оглядевшись, чтобы не забыть чего, добавил: — Вот скажи ты Марье, чтобы глядела за Степкой: малому 18 лет, все околачивается на станции, то уголь, то шпалы выгружает, когда с биржи людей нехватает, то с урками¹⁾ под забором в карты дуется... как бы с торбохватами²⁾ не спознался, в аккурат будет дело... А со мною на работу итти не желает... Скажи ж ей, чтобы глядела...

.....
Только что отошел от дома сотню шагов, как кто-то окликнул сзади:

— Это вы, Григорий?

Григорий узнал по голосу Дувиды Золотогорова, домик которого они сейчас миновали, и толкнул Василия:

¹⁾ „Урки“ — босяки.

²⁾ „Торбохваты“ — похитители у проезжих багажа и товара.

— Ты, брат, иди, иди себе вперед, а я отстану: это с биржи труда человек, чтоб не придрался еще...

Остановился и подождал догнавшего его рыжего бритого человека с дергающейся шеей, будто неудобно было голове его торчать на худых острых плечах хозяина, и казалось, что вот-вот она отделится совсем от слабого туловища. Это был известный в местечке кожушник, а сейчас уполномоченный от группы рабочих по выгрузке и нагрузке шпал.

— На работу? Двое? С биржи труда?

— Конечно, с биржи...

— Та-ак... надо с биржи, это будет для порядка... а то мы все тут будем помирать от безработицы... Ну, счастливого пути!.. — и Дувид юркнул в сторону базарной площади, куда уже тянулись впереди по шоссе крестьянские подводы.

III

— Я, братец ты мой, кровный землерой, Юхновский, Смоленской губернии... Заезжий я здесь... в аккурат с самого измательства колодцы, значит, копаю, прямки разные, выгреб-ба чищу, срубы ставлю, скажем, шпунтовые стенки заправляю, всяко, где придется... по сортирной части работаю, могилы для покойников рою, ничем не брезговаю. Спроси Григория землекопа, все меня знают, а прозвище мое Кубик али Курнос, все равно, — он пыхнул трубкой: — потому, в аккурат, работал я раньше по сошейной дороге от кубика, от сажени, значит... так Кубиком, в аккурат, и прозвали, — хрипло гундосил, обращаясь к товарищу, приземистый и широкоплечий Кубик. — Насчет мово носа не подумай худо: бадья сорвалась, ударила... четыре месяца проболел... как жив остался... — Помолчал. — Раньше себя высоко держал, работа не переводилась... первосортная работа, а с таким носом что поделаешь: кто не знает, в аккурат, гребует даже... так я снизился понемногу. И живу таким родом, а все жить хочется.

Шли оба по тропке вдоль рельсового пути. Медленно рассветало. Мартовский утренник щекотал лицо и поторапливал путников. Стеклом хрустела под ногами ледяная корка на лужах. Четко выколачивал Кубик мерные шаги твердыми сапогами, и пришепetyвали валенки его товарища, худого, изможденного, с трудом тащившего на спине моток каната.

Кубик движением широкой и крепкой спины поправил на ходу заткнутый за пояс топор, переложил на другое плечо мешок, короткий лом и железную лопатку, держа в руках широкую поперечную пилу с изъеденными зубьями, и улыбнулся:

— Ты, брат Василий, носа не вешай: мало ли што бывает... думаешь, што только у вас горе, а у нас его нет... По всей

земле горе, в большом масштабе оно... надо пересиливать горе - то... Вот в чем, в аккурат, понятие жизни.

— Хорошо тебе рассуждать, — сердито ответил Василий: — сытый голодного не разумеет.

— А я тебе скажу, плюнь, в аккурат, и все: ну, украли, засемениться нечем, — плюнь, оставайся тут. Ты думаешь, работы не найдешь? Работа будет, поверь, будет работа: как не быть... в аккурат, всегда найдется для нашего брата, пролетария. Не к зиме дело. Надо жить — не тужить. Вот, к примеру, моя хозяйка, когда порою и почнет, и почнет про свою тяжелую жизнь... и почнет... и почнет... А я себе помалкиваю. „Нет, думаю, есть люди, нас похуже живут, в аккурат, а мне еще ничего.“ Все говорит, что нет у нас ни коровы, ни свиньи, никакого хозяйства. Ну, и што ж... а може, у меня уже припасено? Вот, не говоря ни слова, куплю ей козу, в аккурат. Тогда што? То - то и куплю, бесприменно куплю. Прямо с базара приведу на веревке: „Получай, скажу, козу!“

Василий молчал.

Хотел бы сказать Василию бодрыми словами Дувида про рабочий класс, пролетариат... что наступило теперь его время, да нет таких слов у него и ничего не поделаешь: язык сам собою выбалтывает что - то про козу, и Григорий видел, как раздражается его речью Василий.

Тогда он круто осадил себя и серьезно, почти сердито двинул:

— Да... главнеюшая причина, братец ты мой, чтобы здоровье только было, вот что... а прочее, в аккурат, наплевать и больше ничего... — И он вытянул вперед свободную руку, разжал корявые пальцы и сжал их в кулак.

— Вот суть главная в чем — в здоровье...

— Хорошо тебе говорить... — опять повторил Василий.

Григорий посмотрел сбоку на него и даже остановился:

— Болееешь чем, што ли?

— Не - ет. От военной службы, правда, освобожден был по болезни, а теперь ничего.

— Так какого ж ты хрена дурака строишь... что ты, али не пролетарий?

— Не один я. Говоришь: останься да останься, а дома все должно, по - твоему, прахом поить: хата, земля, садок, огород — все бросить без последствия? Да разве можно? Да там через месяц ничего не останется! Сколько трудов и не при чем. Хорошо тебе рассуждать - то, бездомовному.

Григорий покрутил головой и посмотрел на Василия. Василий помолчал и добавил другим, более решительным тоном, не давая вымолвить Григорию:

— А я вот тебе что скажу, дядя Григорий: вместо твоих разговоров прибавил бы ты мне четвертачок на день, право

слово, а то ведь мне ничего не остается, подумай сам: трое ведь нас — жена, ребенок... по курсу прибавь!..

— Ну, уж это напрасно, братец ты мой: ведь, я тебя не с биржи труда взял, пожалел тебя... Сделай милость, сколько хошь там желающих: за полтинник, в аккурат, в день пойдут, не то что за три четвертака. Нечего зря и говорить: цена, в аккурат, самая настоящая... инженер, небось, высчитывал...

Василий молчал.

— А ты сам от хозяина робил когда? — спросил он, наконец, Григория.

— Всяко бывало...

— То-то и видать,— и злобно бросил: — все рядчики — живоглоты, а то послушаешь: смычка... смычка... Хорошо, нечего сказать, вы, городские, поступаете: смыкнули одежду и пшеницу... Смычка... очень даже хорошо... справедливо, можно сказать, говоришь то да се... знаем мы вас, городских... — все более раздражаясь, продолжал Василий. — Чего зря говорить — то? Сам я жил с малых лет в городе, насмотрелся, жена у меня городская, девочку по-городскому ведет, грамоте учит, а вот ушли от городской жизни, будь она проклята, как из тюрьмы, на землю... случай такой вышел и ушли... освободились, а ты опять зовешь... вон девочка совсем без одежды осталась... сволочи... ироды!..

Не ожидавший такого оборота Кубик сразу замолчал, внимательно посмотрел сбоку на Василия и, чтобы прекратить разговор, энергично зашагал вперед, делая вид, что не слышит Василия. Спустя некоторое время, как бы отвечая Василию, промолвил:

— Делай как знаешь... конечно, ты сам не маленький...

Уже совсем рассвело, когда подошли они молча к пустой, с забитыми окнами казарме, где вчера начали работу.

Кубик осмотрел оставленную вчера работу, сбросил на землю инструменты и подошел к штабелю шпал, незаметно наблюдая на ходу за Василием. А тот, с трудом дотащившись до колодца, раздраженно свалил с себя новый колодезный канат и красными озябшими руками начал подбирать с земли щепки и куски дерева. Сложил все это в кучу, присел и стал разводить огонь.

Его молодое землистого цвета лицо с мелкими правильными чертами посинело от холода, а в серых глазах светились злая тоска и усталость.

IV

К казарме примыкал со всех сторон молодой и редкий сосновый лесок. Всходило солнце, но лучи его еще не грели. Коренастый Кубик, сняв с себя пальто, в одной короткой

стеганой на вате куртке и изъеденной молью каракулевой кавказской шапке с плоским малиновым верхом — подарок сына — подтаскивал к колодцу из штабеля бракованные дубовые шпалы, легко поднимая их на плечо своими загребистыми лапами и сбрасывая на землю.

Ловко и скоро сбивал Кубик порезанные с Василием шпалы в шатровый колодезный сруб. Сделав шесть венцов и разметив их топором, разобрал сруб, положив срубины по разметкам одну на другую.

— Шабаш, брат Василий, тары-бары кончены. Теперь полезу вниз, а ты мне будешь подавать срубины, как вчера... Только, в аккурат, осторожней... — и посмотрел в лицо отходившего к огню Василия.

— Брось думать-то, берись за колесо, какой же ты, брат, в аккурат, непонятный: работа сурьезная... ну, кончай, кончай свою цыгарку, нужно действовать, берись, берись за дело... — И, подождав, пока Василий погасил ногой цыгарку, добавил уже другим тоном:

— Баба моя, скажу ей, приготовит что ни то из ватного старья твоей девчонке... Брось, говорю, думать зря, устроим как-нибудь сообща... Люди, чай, мы...

Но угнетенный Василий точно не слышал его слов.

Тогда Кубик привязал к деревянному валу с колесом канат, опробовал его и подвязанную бадью, затянул узел, опять опробовал и поставил привязанную к валу бадью на край колодца; потом поднял со сруба свое пальто, откуда, из внутреннего кармана, неожиданно вывалился грязный брезентовый бумажник, раскрылся, и из него выпало несколько крупных кредитных бумажек. Кубик подхватил их, засунул опять в бумажник, поймал взгляд Василия, устало и неприязненно следившего за ним, и, надев пальто, подошел к колодцу. Привычными жестами уложил в бадью топор, лопату и лом, привязав свободный конец его к канату, взобрался на край колодца, спустил в колодец ноги, подтянул бадью и поставил в нее одну ногу, держась рукою за канат.

— Спускай, Василий, как вчера, с богом! Когда дерну канат, будешь поднимать бадью с песком, а мне, в аккурат, спускать срубины, да гляди — осторожнее!

— Да ладно... — уже сердито ответил Василий, не глядя на него, удерживая вал за колеса — не беспокойся, знаю... все учишь, знаю уж... Уж больно ты любишь учить-то... — со злобою закончил он.

Канат натянулся под тяжестью бадьи.

Кубик отнял от сруба руку, глянул на решительно действующего Василия, но не поймал его глаз и, держась за канат, стал спускаться в колодец, беспокойный, с замирающим от тайного предчувствия сердцем. Малиновый верх кубанки потонул в колодце.

Канат медленно развертывался на скрипучем валу и уходил вглубь колодца, с трудом удерживаемый Василием.

Когда бадья опустилась до половины колодца, Василий стиснул зубы, изловчился и, прихватив одной рукой натянувшийся канат, остановил вращавшийся вал.

— Что ты делаешь? — слышалось снизу.

— Клади, безносый, в бадью пальто, деньги и пачпорт: понял аль нет? — крикнул в глубину не своим голосом побледневший Василий и затрясся, едва не выпустив каната.

— Спускай потихоньку, не упусти! — ответил снизу Кубик.

Напрягая все силы, Василий сдерживал вал, пока бадья не достигла дна. Отнял руки. Стоял и смотрел на канат. Канат дрогнул, опять закружился вал.

— Легко идет одна бадья, — подумал Василий, удерживаясь от охватившей его дрожи.

Все ближе и ближе, и вот, наконец, бадья и свернутое в ней пальто показались наружу. Подтянул ее от сруба на землю, поставил и вынул пальто. Отодвинулся дальше от безмолвного страшного колодца и, весь покрытый холодным потом, опустился, изнеможенный, на шпалы. Дрожащими руками нащупал бумажник в кармане пальто, опасливо оглянулся по сторонам и на солнце, уже заглянувшее к колодцу сквозь редкий сосняк.

V

Вернулся Василий домой на квартиру в полдень и не той дорогой, что шли с Кубиком, а почему-то в обход.

Из хозяев одна старуха оставалась дома. Вошел в хату, бросил пальто Кубика в угол и сказал жене, сидевшей с девочкой:

— Выйди-ка, Стеша, во двор, сказать слово надобно!

Оставила Степанида девочку с бабкой и вышла на двор. Прошли за сарай, где начинался пустынный огород с торчавшими кое-где сухими серыми стволами прошлогодних подсолнухов.

— Вот, — показал ей бумажник Василий, — тут хватит на три мешка пшеницы и на дорогу.

— Что, ты вернулся с работы? А твой товарищ-то где? — испугалась жена.

— Сидит в колодце... вылезет, не бойся: надо теперь ехать скорее, собирайся сейчас!

— Ой, Василий, что ты наделал?..

— Говорю тебе: жив будет, вылезет, не убил я его.

Схватила за голову, глаза от испуга круглые.

— Спустил его на дно колодца в бадье: он вылезет. Чего ты трясешься?

— А грех, Василий, грех-то... совесть... а как же будем... ведь дите у нас малое?

— Да говорю тебе: вылезет, не пропадет... с инструментом он... надо ехать скорее!

Посмотрел в лицо жены и испугался того, что сделал, и сразу ослаб и опустился, хоть руки вяжи.

Ноги подкашивались. Сели на бревно за сараем и не могли сначала говорить от волнения. И только когда волнение улеглось, они в состоянии были обсудить происшедшее.

Порешили ждать до завтра Григория, когда тот вернется, и только тогда ехать.

До этого Степанида раз видела Григория и знала, где найти его квартиру: возле старого кладбища на улицу красные ворота. Надела мужнин пиджак и пошла на эту улицу. Проходила несколько раз мимо красных ворот, заглядывала во двор, видела только пожилую полную женщину. Зашла на кладбище и оттуда наблюдала за двором Григория. Там было пустынно.

К вечеру из хаты вышла опять пожилая женщина, покормила и заперла кур и выглянула за ворота, точно кого ожидая.

Воздух стал быстро свежеть, и на западе постепенно розгорался румяный мартовский вечер. Жутко сразу стало Степаниде, и она торопливо ушла с кладбища и, волнуясь, прошла мимо полной женщины, проводившей ее глазами.

А розовый закат мерк, и небо начинало звездиться.

И такая тоска и жалость сдавили сердце Степаниды, что она, не отдавая себе отчета, заплакала. Шла и плакала.

И зачем все это так случилось... лучше было бы совсем не жить и не знать ничего. А если он умрет в колодце, тогда что?... Всю жизнь мучиться и ей, и мужу, и бедной девочке... Да что они за несчастные такие всегда и во всем? Почему у них украли мешки, а не у кого другого... и зерно, и одежду!

Улица была пустынная, никто не попадался навстречу. Шла Степанида и плакала, и ей стало легче.

Василия она застала спящим: как повалился на хозяйский сундук, так и не вставал, и рядом с ним спала дочка.

Раздела и уложила девочку, а сама до утра не могла сомкнуть глаз.

VI

На одно только мгновение Кубик испугался, как бы Василий не убил его, бросив на дно с бадьей.

Достигнув же благополучно дна колодца, Кубик положил в бадью пальто свое с бумажником, дернул за канат и прислушался. Вглядывался вверх из-под сруба, разведенного книзу шатром, где он был в сравнительной безопасности. А когда бадья быстро стала уходить кверху, он

подумал: „Ну, постой, голубчик, дай только вылезть, у меня записан дома твой адрес: не уйдешь, милый, никуда“.

Колодец этот был вырыт Кубиком более года назад, но не закончен: дно было сухое, пока еще без воды.

Придя немного в себя, Кубик решил не терять времени, пока в полутемном колодце можно было работать: он вывернул несколько срубин шатра и подтащил их к колодезному отверстию, куда сверху доходил слабый свет. Прислушался, взобрался на срубины и стал ощупывать стенки колодца.

„Не уйдешь, голубчик,— опять подумал про Василия, — выберусь... до самого верха в срубе поделаны гнезда для ноги... подклиню где ни то и как по лестнице вылезу... глубоко, да ничего“. А сам то и дело глядит, подняв кверху голову, на маленький голубой квадратик неба над собой: нет ли там, наверху, злодея, не бросил бы чем в колодец...

Василий в это время уже подходил к местечку.

Кубик просидел в колодце целые сутки и все время, когда сверху доходил свет, работал над вколачиваньем клиньев, которые делал из нижних венцов сруба, только что заведенного им. Плохо пришлось бы Григорию, если бы не было с ним топора: будка стояла в глухом месте, никем не посещаемом, и не было никакой надежды, чтобы его мог выручить кто-либо из посторонних.

Работая, Кубик сильно вспотел, а ночью очень прозяб и, когда на другой день выбрался из колодца, его била лихорадка. Не сразу пошел Кубик домой: силы ему изменили, и он, весь потный, в одной ватной стеганой куртке, едва раскурив трубку, повалился на холодную землю, еще не обогретую мартовским солнцем, и стал понемногу приходить в себя. Это была необыкновенная усталость: он с большим трудом боролся, чтобы не заснуть, но, почувствовав озноб, все-таки встал на ноги. На время даже забыл и Василия. Автоматически отвязал бадью, заложил ее с канатом шпалами, чтобы кто не взял, засунул за пояс топор, поднял с земли поперечную пилу и долго искал лопатку и лом, забыв совершенно, что они остались на дне колодца. В голове шумело, как у пьяного.

VII

Утром, когда все спали, Василий ушел из дому. Как только солнце обогрело немного землю, Степанида поручила старухе свою девочку, а сама опять побежала к старому кладбищу. Прошла мимо домика с красными воротами по другой стороне улицы, замедлила шаги и не спускала глаз с красных ворот. Опять пошла на кладбище и оттуда стала следить через канаву и серые кресты за тем, как вышла из хатки с красными воротами женщина, выпустила и наормила

кур, потом вышла за ворота и долго смотрела в конец улицы. Остановился мужчина с ведром, о чем-то с ней говорил, разводил руками и качал головой. Потом разошлись. Женщина вернулась в хату, откуда с корзиной пошла по направлению к базару.

Тогда Степанида вышла из засады и пошла к красным воротам. Смело заглянула в окна хаты. В хате никого не было, на двери висел замок. Отошла несколько шагов и сразу столкнулась лицом к лицу с приземистым курносым человеком.

Настолько необычен был воспаленный взгляд этого человека, бледного, трясущегося, что она вскрикнула и пустилась бежать по пустынной улице.

В тот же вечер Василий уехал с семьей и тремя мешками пшеницы на Пятихатку.

VIII

Как дошел домой, Кубик не помнил, как не помнил ничего, что было с ним в течение целой недели после этого.

Помнит только, что, когда в первый раз открыл глаза, около него сидел Дувид Золотоголов.

— Ну, здравствуйте, товарищ Григорий, — сказал Дувид, — пора уже выздоравливать...

И жена Григория стоит рядом, улыбается.

— Еще с недельку полежать придется, — продолжал Дувид, обращаясь уже к жене Григория: — заходил я к доктору Эпштейну, говорит — пусть недельку полежит и только, обещал сегодня зайти опять до вас. Страхкасса все равно заплатит; ведь мы, товарищ Григорий, разве не члены профсоюза? И все это благодаря тов. Ленину.

Жена Григория перекрестилась: хорошее придумал для рабочих.

Григорий улыбнулся и спросил:

— Ну, а как ваше здоровье, товарищ Дувид?

— Ничего: волка ноги кормят... лучше бегать, чем сидеть с иглой: Эпштейн меня человеком сделал.

С каждым днем Григорий чувствовал себя лучше и крепче.

Проводив как-то на базар жену, уже не запиравшую хаты на замок, Кубик достал из сених свое старое рабочее пальто, уже получившее отставку, оделся и вышел еще нетвердою походкой на воздух, сразу опьянивший его.

Держась рукою за стены, шел против солнца на зава-linkу, и мысли его сразу растопились и поплыли, как радужные масляные пятна на воде, мешаясь с угревом солнца и криком грачей над головою.

— Ну что ж, проветрилось, нету духу тяжелого и ладно: когда нужно, буду одевать, не в этом дело: жив остался...

Сидел и нежился на солнце, отдаваясь непривычному ощущению полного покоя и отдыха и дремотно прислушиваясь к крику грачей и кудахтанью кур за сараем.

Захотелось покурить.

Лениво набил трубку табаком, а спичек в кармане не оказалось. Пришлось подняться с завалинки и сходить в хату. Пошарил на загнетке, спичек там не было, зато обнаружил неизвестно как туда попавшую с полки книжку и в ней свернутый листок бумаги с записанным на ней адресом Василия.

— Вот он где... — подумал Григорий, но не шевельнулось в сердце злобы. Как будто то, что сделал Василий с ним, случилось когда-то давным давно, забыто совершенно и для Григория сейчас мало интересно и даже мало понятно. Положил записку в карман вместе с найденными спичками и вышел из хаты.

Опять сел на завалинке против солнца, закурил и отдался ленивой дремоте, не замечая, как потухла его трубка.

Скрипнула калитка. Вернулась жена.

— Сиди, сиди... небось, есть захотел? Сейчас сготовлю.

Проплыла, сильная и спокойная, мимо Григория и пронесла за собой знакомый запах ситца. А за нею гурьбою бежали проголодавшиеся краснощекие куры с горлающим по-весеннему огненнокрасным петухом. Загремела в сенцах ведрами и пошла по воду.

— Застегнись получше да гляди от земли не застынь! — ласково бросила она, проходя мимо.

Подумал: „Не ругается, не попрекает... а все кассыя эта страховая — как удумано — то ладно“...

Тяжело избоченясь, ступает жена с полным ведром.

— Да, чуть не забыла: милиционер на базаре спрашивал фамилию человека, што работал с тобою... Кш... вы, поганые, — пугнула она кур, — ишь, уже нагадили, а только что подмела двор...

— Ладно уж, пусть не беспокоится, мое это дело... что с возу упало, то пропало. Надо было бы Дувидку слушаться...

— Дувидка, — человек не вредный, — поддакнула жена, — посиди немного, а я сейчас управлюсь и покличу.

Хотелось Григорию сказать жене что-нибудь ласковое, ободряющее, да сразу не нашел подходящих слов и только прогундосил ей в след со счастливой улыбкой на плоском лице:

— Поживем еще, Матреша, поживем... — и добавил: — Петюшка, по моему расчету, должен скоро письмо прислать...

IX

Заливая все расплавленным золотом, весь в розовато-малиновых красках, весенний день, отягченный усталостью, склонялся к вечеру.

Никогда в жизни не чувствовал Кубик себя так легко и бодро, как сейчас, после болезни, сидя на завалинке, и мысль его не работала никогда с такой ясностью.

Он был счастлив.

Будущее уже не беспокоило его больше своей неизвестностью.

Он чувствовал, как с каждым часом к нему возвращались постепенно утраченные силы. Растопырил на солнце кисти рук и как будто видел, как заполняются они внутри кровью и силой. А плоские прямые ногти на пальцах, которыми он много лет, как крот, выгребал землю, при сжатии руки в кулак впивались в тело.

Во дворе соседки Марьи, за забором, слышался визг железа, как будто точили топор.

Кубик прислушался: да, кто-то точит о камень железо.

— Степка, а Степка... — крикнул Григорий: — ты это?

Поверх низенького забора выглянула красная обветренная голова Степана.

Он осклабился и поздоровался:

— Дядя Григорий, ну как? — и облокотился на низкий забор с перекинутыми на нем двумя мытыми полосатыми мешками с нашитыми на них черными крестами, сразу напомнившими Григорию о чем-то.

Степка был сыном соседа Петра, плотника, приятеля Григория. Петр умер год назад от простуды и перед смертью поручил Григорию поддержать его семью и вывести Степана в люди. Но плохо слушался Степан Григория, неспособного быть наставником.

Степан ловко перескочил на руках через забор и подошел к Григорию.

— Встал уже... ну вот... Дядя Григорий, нет ли у тебя на один день долота?

— А зачем?

— На работу поступил: в члены союза строителей записался.

— Когда же? — радостно переспросил Григорий.

— Да уже с неделю... Все Золотоголов Дуvid... Да оно и лучше, сам вижу, чем околачиваться так-то без дела...

— Эх, отец-то помер... поглядел бы, порадовался... молодец, Степан... — глаза Кубика сами собой остановились на мешках. А ведь это мешки Василия, что украдены с пшеницей. Откуда они у тебя?

— С Федькой Беспаловым ... на станции... — просто ответил Степан, глядя в сторону.

Ничего не сказал Григорий, встал и вынес из сеней долото.

— Наточи хорошенько!

Степан опять ловко перемахнул через забор, и опять Григорий стал вслушиваться в шаркающий звук железа.

— Поработаем еще... — протянул вперед руки к солнцу Григорий, — поработаем... эх, пролетарии всех стран...

Расстегнул пальто и полез в карман ватной куртки за трубкой и спичками. Достал оттуда свернутую бумагу, развернул: это был адрес Василия.

Закурил трубку и, попыхивая, провожал глазами солнце, держа в корявых пальцах бумажку. Потом измельчил ее на кусочки и, чтобы не сорить в чисто выметенном дворе, не бросил их на землю, а, положив в шапку, надел ее потом на голову.

— Эх, Василий, Василий, до чего может дойти человек!

А солнце склонялось все ниже и ниже, и уже ночью свежестью потянуло от тебя сарая.

Начинавшие понемногу успокоиваться на высоких тополях грачи, галки и вороны подняли сразу страшный разноголосый гомон, с шумом снялись тучею со своих мест и закружились в высоте, соединяясь в одну общую стаю. Из эта общая стая устремилась за неизвестно откуда взявшимся ястребом.

Тот уходил от них, лавируя в воздухе и уклоняясь от ударов налетавших на него одна за другою птиц, и крылатая стая, как живая сетка, повисла в румянном вечернем небе и постепенно таяла по мере удаления ястреба.

Кубик, не отрывая глаз, следил за птицами.

Проникаясь весь радостною обновляющею бодростью природы, он встречал и провожал глазами возвращавшихся к своим гнездам потревоженных птиц. Эти птицы сейчас были ему так близки, понятны, и он радовался за них: „Вот так, молодцы, это я понимаю: в другой раз уже не сунется...“ И он сливался в этот миг со всей природой в одно целое, подчиненное одним законам бытия.

С шумом рассаживались по соседним деревьям птицы. Их подлетало все больше и больше. Шум крыльев и разноголосый крик все нарастал, множился и потрясал воздух торжеством победы.

Кубик стоял, застыв в одной напряженной позе и, не отдавая себе отчета, крикнул вдруг истоиво вверх, охваченный непонятным трепетом:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — и подбросил высоко свою шапку, размахивая руками, осыпанный выпавшими из шапки мелкими лепестками разорванной бумажки с адресом Василия.

— Да что ты, маленький, что ли? — окликнула его из дверей жена совсем не сердитым голосом. — Иди, иди уж в хату, летун... что машешь - то руками? Забыл опять про еду... — и дружелюбно взглянула на привлеченного голосами Степана, спокойно снимавшего с забора просохшие мешки.

МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО

МОЙ РЕЙД В ВЕЧНОСТЬ

Слушайте шопот хвои на хребтах
и как гомонят ветви.

Сегодняшней жизнью нельзя
умерщвлять
жизнь тысячелетий.

Благодарите вечность, что живет
в вас,

оживляйте
жизнь
вещей!

Если выроете из земли
полусгнивший

человечий
таз,

не отводите от человека очей!
Не будьте мертвыми археологами,
минувшего не раскладывайте
номенклатурой
чистой.

Гляньте:

в гробнице лежит мумия

фараона

и возле нее — его зубочистка.

Милльонные когорты лежат

мертвецами,

такие же футуристы, как мы.

И они воздвигали стены

с зубцами

и в борьбе полегли
костью.

А вы хотите сделать из человека

платоновскую идею,

если в каждом из нас — вечность

не измерить.

Милльоны сегодняшних и грядущих

людей —

милльоны людей

Смерти.

Так не умирает жизнь. Так мы шагаем
в вечность.
Атланта - строй, Нило - строй — сменяет
наш
Днипр - ель - стан.
Потому, когда и я умру, — положите
со мною вместе
мою зубочистку
и мой
чемодан.

С украинского **Иосиф Киселев**

БОРИС БЕЗДОМНЫЙ

НА ХУТОРЕ

В цветущих яблонь благодать
Заброшен не на день я.
Нет шума, если не считать
Пчелиного гуденья.

Нет песен,
 кроме петуха
Забавных упражнений,
Его звезде не потухать —
Он здесь искусства гений.

Турне от хлева до ворот,
И вот
 с серьезной миной
Петух взволнованно поет,
А гусь — „у пианино“.

Зато сирень,
 луны фонарь...
Река в гранит одета,
А в общем... старый инвентарь,
Весь инвентарь поэта.

В саду
 снотворен зрелый мак.
Плоды — душистой ношей,
И я усталостью в гамак,
Как рыба в невод, брошен.

Иду я в лес,
 иду я в сад,
Дышу цветов наркозом,
А восемь лет тому назад
Здесь ночевали грозы.

Здесь солнце иглами лучей
Сшивает в легких раны,
Речистый пенится ручей,
Речисты хуторяне.

Их жизни цель обнажена,
Им лучшего не надо,
Но мне такая тишина
Страшнее канонады.

Мне только свежести занять,
Занять у солнца силы
И в Харьков на зиму опять,
В туманный,
 душный,
 милый...

Рассеять строфы по листкам
Поэтовых плантаций
И снова бодрость расплескать
По лестницам редакций.

Пока залихорадит взгляд,
И пульс свой бег утроит,
И сердце станет размышлять:
„Работать иль не стоит?“

Вновь силы захочу занять,
Пойду дорогой длинной,
На хутор к яблоням опять
Явлюсь тогда с повинной...

Но яблоня, горда собой,
Меня пропустит мимо
И нежно скажет:
 „Чорт с тобой,
Поэт неисправимый!“